

На каждом этаже гостиницы висели большие электрические часы.

Ни одни из них не работали, а так как замерли они, судя по всему, в разное время суток, оно же и было на каждом круглом циферблате означено.

На четвёртом, где я жил, время остановилось около шести часов, и почему-то я решил, что тут у нас теперь всегда ранний вечер – та самая пора, когда уже можно позволить себе, наконец, расслабиться и отдохнуть душой... вечный вечер в Монголии, хорошо!

Как нравилась мне неторопливая здешняя жизнь после сумасшедшей московской!..

Расставаясь в конце дня с добрым и задумчивым Уарянхаем, писателем чуть помоложе, которому выпало меня сопровождать, всякий раз мы миролюбиво спорили: в котором часу на следующий день нам понадобится машина?.. Сходились в конце концов на десяти утра: раньше, уверял Уарянхай, всё равно не получится.

Появлялся он назавтра в одиннадцатый и, виновато улыбаясь, предупреждал, что машина придёт в двенадцать. Водитель находил нас около часу, чтобы заявить: ему необходимо ещё минут сорок пятьдесят – для заправки.

Как ни странно, всё это лишь

умилило меня... может быть, так и надо жить? Ну, почему нет-то, ну – почему?.. Куда, и в самом деле, вечно спешим?

В конце первой неторопливой недели меня в Союзе писателей спросили: не мог бы я перед поездкой по стране погостить в Улан-Баторе ещё денька три-четыре?.. Дело в том, что прилетает ещё один гость, писатель из Югославии. Вместе бы нас потом в путешествие и отправили... да почему бы и нет? Отчего бы мне, и в самом деле, не обождать писателя из Югославии?

Остаток дня у нас с Уарянхаем обычно уходил на осмотр дацанов в самом городе либо в окрестностях, а около шести, с наступлением вечного вечера, я снова оставался в гостинице один: мой гид жил в новом микрорайоне, на окраине, и предпочитал пораньше добираться домой на нашей «волге»... ведь неизвестно ещё, в каком аймаке водитель жил, ну – не так?

Гостиница была старая и добротная, с просторными номерами и тяжёлой основательной мебелью... Удобное кожаное кресло я подтаскивал поближе к широкому и низкому подоконнику и проводил возле него часок, а то и полтора: глядел на неброский, тихий закат, не отрываясь, кажется, даже тогда, когда в два приёма выпивал свои ежевечерние сто пятьдесят.

Потом я спускался в ресторан ужинать.

Уарянхай уже успел мне объяснить, что с наступлением темноты ночная жизнь в Улан-Баторе почти замирает, а если и теплится кое-где, то это, в основном, в ресторане нашей гостиницы.

Пытаясь рассмотреть в ней национальные приметы, я вглядывался в эту ночную жизнь, но то, что я увидел, что надолго врезалось в мою память, было отнюдь не монгольского происхождения.

Неподалёку от того места, где сидел я, в зале каждый вечер накрывали два общих стола – один поменьше, а другой подлинней... За меньший часов около девяти усаживались человек двенадцать-пятнадцать светловолосых европейцев в новенькой тёмно-голубой униформе – больше всё-таки штатской, хоть сидела на каждом как литая – с узкими и коротенькими витыми серебристыми погонами. На них были белые – так и хочется сказать: ослепительно белые – рубахи, темно-серые галстуки и примерно такого же цвета, может, чуть потемней, мокасины.

Как они появлялись – всегда вместе, с какой ненавязчивой неторопливой независимостью шли через зал, с каким уважительным дружелюбием друг к другу рассаживались!.. Они походили на спортивную, только что с тренировки, только из-под душа после неё команду: все примерно одного возраста, слегка за тридцать, все прекрасно сложены, у всех как на подбор – открытые лица с крутыми подбородками, у каждого в повороте либо в наклоне головы – мужество и сознание достоинства. И всё-таки не спорт их объединял,

нет – объединяло наверняка что-то более сложное и опасное, что-то более таинственное... но что?

Подолгу, на кавказский манер, но очень тихо произносили тосты, очень сдержанно, несмотря на царившее за столом всеобщее оживление, разговаривали – чаще, казалось, обменивались всё понимающими красноречивыми взглядами, и лишь часа через два-три, к самому концу ужина, звучал то тут, то там короткий, почти сразу затихавший смешок.

С европейцами в тёмно-голубой униформе всегда был рядом красивый, возрастом лет на пятнадцать старше крепкий монгол в черном костюме и в пестрой, без галстука, рубахе. На переводчика он не походил. Судя по уверенным жестам, скорее это был принимавший своих коллег немалый «дарга»: большой начальник.

У него был решительный и быстрый взгляд человека, который любит прямой разговор, и я почему-то уверил себя, что он хорошо знает по-русски... Иногда он выходил из-за стола – видимо, отлучался отдать распоряжения либо о чём-то позаботиться – и однажды, когда мимо моего столика возвращался обратно, я поднялся ему навстречу.

– Извините моё любопытство, – сказал негромко. – Но такая моя профессия: писатель. Не могли бы вы сказать, кто эти симпатичные люди рядом с вами?

– А-а! – протянул он достаточно дружелюбно, но вместе с тем с ноткой нарочитой строгости в голосе. – Это лётчики... лётчики.

– Издалека они?

– А-а-а, – снова потянул он. – Немцы... это немцы.

– Восточные? Западные?

– Из Гэдээр. Гэдээр.

– Гражданские лётчики? – всё уточнял я. – Военные?

– Да-да! – сказал он уже нетерпеливо и властно. – Это – лётчики.

– Но что им делать в Монголии?

Мягко говоря, я был не очень деликатен, и большой «дарга» решил, видимо, поставить меня на место:

– Сколько вы у нас? Скорее всего недавно. Потому не успели пока узнать. Наши летчики – лучшие не только в Азии...

– Что ваши водители молодцы – это точно. Так гонять, как они...

Может быть, в глазах у меня при этом мелькнуло неверие? Относительно летчиков. Голос у моего собеседника сделался уже не строже – как бы презрительней:

– Выше берите, выше! Мы не о земле – мы о небе.

Я невольно произнес: извините, мол!

И он снизошел:

– Немцы тоже настоящие летчики. Обмен опытом!

Надо ли объяснять, что я стал всматриваться в них еще внимательней...

Но не один я, оказалось, приглядывался к компании мужчин в тёмно-голубой униформе. Не один я за ними следил.

В сторонке от них, ближе ко мне за длинным общим столом обычно ужинала разношерстная компания русских, человек тридцать, а то и больше. Их я, проходя мимо, спросил в первый же вечер: откуда, мол, земляки?

– Из Иркутска! – ответили вразнобой. – Соседи с Монголией... мы по обмену! Они два-три раза в год к нам, мы – к ним.

– Одни бюрократы, небось?

– решил я обнародовать печальное своё знание нашей жизни. – Чиновнички?

Иркутяне ну прямо-таки возмутились:

– Зачем вы так?.. Из разных организаций. Каждой твари по паре, как говорится.

Что касается пар, это-то как раз и было не так.

В начале стола, и в самом деле, сидели парами: либо давно соединившимися ещё там, в России. Либо наскоро сбившимися, слепившимися кое-как уже тут, в Монголии – что там ни говори, за границей... Кто-то там за кем-то ухаживал, кто-то с кем-то чокался, кто-то кого-то обнимал, и галдели все, веселились, время от времени громко, чтобы остальным слышно было, торопливо выкрикивали тосты и два-три раза за вечер непременно пытались начать песню, которая через два-три куплета всякий раз постепенно, явно из-за незнания слов, ослабевала, а после угасала и вовсе...

Оттуда же, от начала стола, как бы с горной вершины в долину, на низменность, ручейком текла водка: из большой хозяйственной сумки, стоявшей у неё в ногах под столом, шустрая подруга явно главного в делегации человека, низенького лысого толстяка, о каких говорят, что такого легче перепрыгнуть, нежели обойти, доставала по его повелительному жесту поллитровки зелёного стекла, которые в магазине предпочитают не брать даже записные поддавалы. Он сам, лично, перочинным ножом поддевал неподатливые, без язычка, «бескозырки» и отливал сперва чуток в свою рюм-

ку, словно испытывая всякий раз на себе безопасность напитка, и передавал бутылку дальше, сперва сопровождая её строгим взглядом, но тут же отчего-то как бы и успокаиваясь...

В самом конце стола, явно в одиночестве, сидела женщина неопределённого возраста: на вид ей можно было дать и тридцать, и чуть ли не пятьдесят – так перемешались в её облике приметы самого противоречивого свойства.

До неё бутылка не доходила, зато кто-нибудь передавал ей свою налитую всклень рюмку. Женщина почти тут же коротко, по-мужски её опрокидывала и сразу закуривала: перед ней лежала возле тарелки початая пачка «Беломора», но кто-нибудь так же, как рюмку с водкой, нет-нет да и передавал ей сигарету, часто уже прикуренную.

Отставив в сторону зажатую в двух пальцах сигарету и положив подбородок на запястье другой руки, женщина почти неотрывно глядела на компанию мужчин в тёмно-голубой униформе.

Никто из летчиков не оглядывался и не рассматривал зал, им хватало общения друг с дружкой, хватало дела, которое их всех, видно, крепко связывало, и женщина за иркутским столом, во взгляде которой сначала виделась готовность тут же отвести глаза в сторону, постепенно смелела и так увлекалась безмолвным своим занятием, что лицо её сперва только расслаблялось, постепенно оплывало, а после начинало жить той особенной жизнью, которая уже не скрывала ничего – ни горьких размышлений, ни тайных надежд, ни сокровенных желаний...

Конечно же, это одна-другая лишняя рюмка обычно делала своё грустное дело, но ведь то было всего лишь следствием... чего, милая, чего? Нашей бесконечной лжи и наших тесных барачков, нашего неверия уже во что бы то ни было и наших безразлично за чем очередей с криками, хамством, злыми взглядами и дурными словами, которые заражают всё вокруг нас и постепенно убивают всё доброе в наших детях...

И без того не очень-то идущая ей причёска к середине вечера непременно начинала распадаться, грубоватые черты чуть вытянутого книзу лица делались мягче и печальней... Страдающие глаза, в которых острая боль и тёмная бабья тоска сменялись вдруг явным раскаянием и таким откровенным восхищением всем происходящим вокруг, постепенно наливались невыплаканными слезами... Может быть, я тогда не увидел это – больше придумал?.. Весь жалкий вид её будто свидетельствовал не только о горьком самоосуждении, но и об искреннем, почти вселенском, почти космическом прощении – всем и каждому...

«Кто она?» – думал я.

Рабочая из бригады путейцев, которые по всей матушке-России с тяжёлыми ломачами в руках предупреждают нас оранжевым цветом своих безрукавок, что силы у родины давно на исходе – с тех пор, как почти у всех, кто ещё носит брюки и в бане заходит в мужское отделение, пропала совесть... Неужели теперь – навсегда?.. Или точно так же она могла быть и лаборанткой НИИ, нынче всё везде одинаково, везде страшно, а руки она могла изработать и дома... Есть ли у неё

семья? Дети? Муж?.. Или давно его, вечно хмельного, выпроводила, а может, он её на улицу с детишками выставил, когда домой алкашку привёл, которая его якобы «понимает»?..

Кто-нибудь поехать не смог или, ожидая путешествия подальше и попрестижней, отказался от поездки к соседям, сунули в делегацию её, и вот она сидит – смотрит, смотрит...

Как там, милая, было в старых романах? «Душу – Богу. Жизнь – Государю. Сердце – Даме. Честь – никому».

И вот они сидят, рыцари, – наверное, такие они в наши дни?

Летчики. Небожители!

А ведь она и есть эта Дама... Господи, ну хоть кто-нибудь отдайте, отдайте ей своё сердце!

Преданней, вернее не будет, не будет женщины!

Зря, что ли, от этих ненадёжных ребят, которые держат путь якобы в Израиль, а потом поселяются в Германии либо в Штатах, уводят, как правило, русских жён... Это тут вы гуляете, ребята. Среди алкашей. Это – тут!

Отдайте ей своё сердце, ну отдайте!

Кто-то из доброхотов снова переправил ей свою рюмку, снова опрокинула она её скупым мужским жестом...

В последний вечер, когда за столом у иркутян было особенно весело и шумно, а ей переправляли рюмки чаще обычного, они её потом попросту забыли... Все встали и пошли, но никто не потрепал её по плечу, не взял за руку – она так и осталась сидеть одна за опустевшим длинным столом.

Причёска её, стянутая на затылке заколкой, опять некрасиво распалась надвое, губная помада размазалась на щеке, не очень новое зелёное платье с глубоким вырезом сбилось набок, и на ключице беззащитно виднелась белая бретелька... Левую руку она слегка отставила и вытянула ладонь, будто всё ещё дожидаясь внимания от тех, кто, оставив её, ушёл, а правая с погасшей сигаретой в пальцах так и была у неё под подбородком.

Как она смотрела на них, как смотрела!

Зал был уже почти пуст. В центре, во всяком случае, оставались лишь лётчики, эта женщина-иркутянка одна за длинным своим столом, да я – наблюдавший издали и за мужчинами, и за нею.

Кто-то из немцев увидел её первый, довольно долго смотрел, но она всё не отвечала на его взгляд, и он еле заметно улыбнулся и что-то быстро сказал своим... Громкий хохот раздался за столом, только потом все они повернули головы и поглядели на неё – если и с интересом, то это был интерес больше к тому, что только что было сказано, но не к ней...

Она вдруг поняла, что давно одна за длинным своим столом.

Казалось, ничто в ней не изменилось, только слёзы потекли по лицу. Она их не замечала, и слёзы вымывали тушь из уголков глаз, тёмные разводы потекли по щекам, расплылись над подрагивающими губами...

И вдруг она виновато, стыдливо улыбнулась и запоздало кивнула немцам: мол, смотрите? Заметили меня, наконец? А я уже не надеялась!

И столько было в глазах у неё вины: простите, мол!.. Вроде бы с моей стороны не совсем скромно... Ну, так вышло.

Теперь они оглядываться стали по одному, словно по очереди, потом наперебой начали что-то доказывать тому, кто перед этим увидал её первым... Говорили отрывисто и достаточно строго. За столом у них лишь пожилой монгол всё продолжал беззаботно улыбаться: Восток есть Восток.

И вдруг этот, первым обративший внимание на одинокую иркутянку, поднялся из-за стола, повернулся к ней лицом... Вытянулся, расправил грудь и резко, коротко, но явно глубже привычного поклонился.

Он остался стоять, из-за стола поднялся второй лётчик и поклонился ей почти так же. Без лишних эмоций на лице, но уважительно и с достоинством. Поднялся и поклонился третий. Потом четвёртый. Пятый. Шестой.

Когда уже все они стояли, поднялся монгол, кивнул женщине уже без ритуала, раскованно, пожалуей, даже чуть небрежно. Припод-

нял крепкую руку и по-дружески шевельнул пальцами.

Первым пошёл из зала монгол. Немцы двинулись за ним с неторопливой независимостью.

Она сидела и плакала.

Или это я плакал?..

Над судьбами всех девчонок из нашего рабочего посёлка: со знаменитой нашей Антоновской площадки. С Запсиба... Тоже вот всё ждали и ждали рыцарей, но рыцари или ехали в другие места, или почти тут же убегали со стройки. Сюда в конце концов привезли женихов, «досрочно освобождённых из мест заключения». И вот уже в «местах заключения» – общие их выросшие детишки – их-то освободят ли досрочно?

Немцы больше не обернулись, только пропустивший всех впереди себя монгол махнул ей от выхода рукой. Она этого не видела – всё ещё смотрела на стол, за которым они только что сидели. Она улыбалась, и в прокушенных губах подрагивали кровавые бусинки...

Отдайте, отдайте ей своё сердце: ну, хоть кто-нибудь!